

**Между Цезарем и Чингис-ханом:
"Наполеон" Е. В. Тарле как литературный памятник
общественно-политической борьбы 1930-х годов**

*...Сопоставление Тамерлана с Александром Македонским
есть плохое предвещание для наших исторических споров...*
(Вл. Соловьев. Три разговора о войне, прогрессе и конце
всемирной истории).

По масштабам своего влияния на умы людей сталинской эпохи "Наполеон" Тарле оказался вторым после "Краткого курса» истории ВКП(б) историческим сочинением. В отличие от партийного трактата 1938 года книга Тарле подвергалась непрерывным переделкам, и в эпоху десталинизации пережила новое рождение. Быть может, эти обстоятельства способствовали утверждению взгляда на нее как на научный труд и одновременно образец исторической беллетристики. Если замысел, язык и концептуальное содержание «Краткого курса» давно превратились в предмет социально-политического анализа, то сохранение «Наполеона» в поле современного чтения мешало понять его общественную принадлежность к середине 1930-х гг. Вместе с тем это произведение запечатлело определенную фазу идейной и политической эволюции советского общества и выразило дилеммы, перед которыми оказалась власть на закате революционной эры.

I. Возникновение замысла

Современные исследования позволяют считать установленным, что замысел книги о Наполеоне возник в окружении Сталина или у него самого. В 30-е годы советская элита все менее идентифицировала себя с леворадикальными деятелями Французской революции и, предчувствуя новые падения и взлеты, начинала с интересом всматриваться в фигуры Дантона (два издания книги Фридлянда в 1934 и 1935 гг.), Фуше (издание новеллы С. Цвейга), Талейрана (мемуары которого с предисловием Тарле печатаются в 1934 г.)¹. Исполнителем социального заказа на биографию Наполеона Бонапарта был избран автор, уже зарекомендовавший себя в области исторической публицистики и вместе с тем далекий от марксистских опытов учеников Волгина и Покровского. Жаждающий общественной и профессиональной реабилитации Е. В. Тарле отвечал этим требованиям.

В марте 1935 г., вскоре после публикации очерка о Талейране, Тарле получил ответственное задание Кремля и принялся за книгу о Наполеоне². Наблюдение над ее подготовкой было поручено заведующему Бюро международной информации ЦК ВКП(б) Карлу Радеку, у которого еще в 1932 г. сложились доверительные отношения с Тарле (Каганович: 49-50)³. Редакция "ЖЗЛ", которой предстояло выпустить книгу в свет, трепетала: "Хозяин сказал, что будет первым ее читателем"⁴. Для понимания атмосферы, в которой создавался "Наполеон" показательно, что руководство биографической серией "Молодой гвардии" и редакционной подготовкой "Наполеона" было возложено на пришедшего к большевикам через смеховеховство Тихонова-Сереброва. Как известно, одним из основа-

¹ Г. И. Серебрякова вспоминала, как во время прогулок на даче Сокольникова А. С. Сванидзе говорил о Ягоде как о советском Фуше: "В те годы все мы запоем читали "Талейрана" Тарле и "Фуше" Цвейга, и Сванидзе не раз цитировал эти книги (Серебрякова 1988: 258).

² Возможно, Тарле пришлось пожертвовать собственными планами — завершить "Прериаль и жерминаль", над которым он напряженно работал накануне ареста и ссылки (Далин: 86; Каганович: 57). В ноябре 1932 г. вскоре после возвращения в Москву, Тарле надеялся, что сможет сосредоточиться на подготовке к печати монографии "Жерминаль и прериаль", но получил иное задание — подготовить вступительную статью к изданию мемуаров Талейрана и сопроводить их "ученым аппаратом" (Каганович: 49, 51). "Прериаль и жерминаль" вышел из печати спустя год после публикации "Наполеона", причем в весьма подходящее время — когда после февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) власть обратилась к поощрению плебейского радикализма и гонениям на са новничество.

³ Оба, и Тарле, и Радек были возвращены из ссылки и облечены доверием, превосходившим прежнее отношение к ним со стороны власти..

⁴ Из письма заведующего редакцией "ЖЗЛ" А. Н. Тихонова-Сереброва А. М. Горькому, 26 апреля 1936 г. (Дунавский, Чапкевич: 575).

ний идеологии "смены вех" было убеждение в том, что "большевизм логикой вещей от якобинизма будет эволюционировать к наполеонизму" (Н. Устрялов. В борьбе за Россию. Харбин, 1920. Цит. по: Агурский: 65).

Позднее Е. В. Тарле "рассказывал о сомнениях, одолевавших его, когда он впервые брался за эту тему: — Такие предшественники! Вальтер Скотт, Стендаль, Толстой... Было над чем задуматься. И все-таки, - после паузы добавил он, — я решился!" (Манфред: 5) Это свидетельство не объясняет мотивы решения Тарле взяться "за эту тему", но подтверждает, что обращение к "Наполеону" не вытекало из логики исследовательской работы Тарле. Его не смущало обилие источников и богатство историографической традиции: к своим предшественникам Тарле относил не историков и социологов, но писателей — создателей оригинальных художественных типов Наполеона. "Наполеон" задумывался и создавался прежде всего как описание, соперничающее с большой литературой⁵ и подобно ей, имеющее ввиду не "воссоздание" (историческую реконструкцию), а введение в современный контекст нового социального героя, носящего знакомое имя. Авторитет действительности, завершеного прошлого, был призван легитимизировать авторскую концепцию.

Книга Е. В. Тарле о Наполеоне "была почти единодушно воспринята современниками как шедевр" и "имела огромный успех как у широкой читательской публики, так и у утонченных интеллигентов" (Каганович: 60, 64). Популярность "Наполеона" в конце 30-х годов может быть объяснена указанием на социальные, идеологические и культурные контексты (обстановка завершения революции, поиски новой легитимации "советской" власти, усталость от марксоидных схем, спрос на популяризацию старого знания, адаптированного к новому поколению, жажда развлечений). Однако устойчивость читательского спроса на "Наполеона" в СССР и за его пределами заставляет предположить, что обаяние книги Тарле таилось не только в этих контекстах, но и в их инвариантах — в соответствии ожиданий обобщенного читателя доминирующему авторскому подходу. Массовым читателем повествование о Наполеоне ожидалось как рациональная, реалистически изложенная легенда, как предание, подкрепленное авторитетом исторической науки. Тарле определил модель описания, исходя из выстроенной им внеисторической доминанты массового сознания: "в памяти человечества навсегда остался образ, который в психологии одних перекликался с образами Атиллы, Тамерлана и Чингисхана, в душе других — с тенями Александра Македонского и Юлия Цезаря" (Тарле 1936: 599). Перечисление протообразов обнажало авторскую задачу и определяло характер повествования.

Оспаривая репутацию Тарле как "большого художника слова", Ю. К. Олеша, замечал, что "от его писаний" (Олеша имел ввиду прежде всего "Наполеона") "не остается именно художественного поэтического впечатления. Скорее ощущение компиляции" (Олеша: 177-178). Жесткая оценка Олеша вызвана приложением к книге о "Наполеоне" формул европейской литературы XIX-XX века, прежде всего психологической прозы. Обращение к этим формулам помогает оттенить особенности произведения Тарле. Однако их применение как критериев для анализа книги о Наполеоне вряд ли уместно: признаки социально-психологического романа с самого начала не занимали преобладающего места в сочинении Тарле и целенаправленно вытеснялись им при переработке книги в 1937-1938 гг. Второе издание, представило более слаженное и сглаженное, но содержательно иное видение Наполеона. Невозможно сказать, насколько социально-художественная конструкция, сложившаяся в итоге работы над текстом в 1935-1938 гг., отвечала первоначальному авторскому замыслу. Ответ на этот вопрос не имеет решающего значения для анализа биографии Наполеона как общественного феномена: приступая к Наполеону Тарле поставил свой талант историка и беллетриста на службу государственной задаче; и оставался верен раз принятому решению.

II. Эпический герой

"Ощущение компиляции" и малой художественности, возникающее у искушенного читателя порождалось характерными для архаических типов повествования чертами: намеренным отказом автора от анализа внутреннего мира героя (1); милитаризацией образа героя (2); моделированием социальной действительности как условия его самораскрытия (3); деиндивидуализацией письма и его внеисследовательским характером (4), поглощением различных повествовательных версий, их объединением и редуцированием в тексте (5).

⁵ : В спорах об историческом романе и его значении в воспитании нового человека" Тарле придерживался мнения, что порой "художественная литература подменяет блестяще историю" (Серебрякова 1980: 75). Характерно, что в своей книге Тарле весьма критически отзываясь о биографии Наполеона В. Скотта, без всякого пиетета упоминает "Войну и мир" и вовсе не касается "Воспоминаний о Наполеоне" Стендаля

(1) Своей целью автор считал характеристику своего героя "как человека, как исторического деятеля с его свойствами, природными данными и устремлениями"(Тарле 1936: 10). Это очень важное утверждение: предпосылкой определения внутреннего мира человека как складывающегося из "свойств, природных данных и устремлений" является вера в изначальность и неизменность его психической жизни. Намечая отдельно стоящие "данности" характера, автор обещал отказаться от наследия Тацита и Плутарха, стремившихся понять, "как в одной душе уживались высокий дух и низкие пороки" и "свести дурное и хорошее в личности императоров в диалектическое единство" (Гаспаров: 347). Тарле включает в свою программу изображение "неповторимого своеобразия и поразительной индивидуальной сложности"(Тарле 1936: 599) образа Наполеона. Это указание не устраняет мифологичности авторской установки. Сложность, о которой говорит Тарле, непротиворечива и потому неспособна генерировать развитие его персонажа. Между тем, отличие художественного анализа от сказания состоит не в степени детализации героя, наделении его неповторимым множеством атрибутов, но в трактовке внутренней перемены как неизбежно вытекающей из концепции личности⁶. Герой эпоса индивидуализирован, он может быть обуреваем разными страстями и показан в разных обстоятельствах, но при этом остается равен самому себе. Будучи перенесен в современный социально-литературный контекст эпический персонаж оказывается "идеальным образом или социально-моральным типом" (термины Л. Я. Гинзбург (Гинзбург: 89)).

В изображении Тарле десятилетний Наполеон предстал уменьшенной копией будущего императора, причем автор дал понять, что на деле душевный строй героя сложился даже прежде поступления в бриеннское военное училище: в нем он "*оставался* угрюмым, замыкающимся от других детей мальчиком, он быстро и надолго раздражался, не искал ни с кем сближения, смотрел на всех без почтения, без приязни и без сочувствия, очень в себе уверенный, несмотря на свой маленький рост и возраст" (Тарле 1936: 13). Последующее изложение мало что прибавит к этой аттестации и ничего в ней не опровергнет (разумеется, за исключением указания на возраст). До конца книги герой останется верен этому первому описанию — описанию ребенка, о нем можно сказать то же, что и о персонажах эпоса: "С теми свойствами, с какими они в эпопею вошли, они из нее и выйдут" (Гуревич 1990: 120). В согласии с представлением о детстве как неполноценной взрослости автор выводит складывание личности молодого Наполеона Бонапарта за рамки повествования. Первая глава книги охватывает 26 лет — половину жизни Бонапарта, но для их описания, включая картины термидора и вандемьера, оказалось достаточно одной двадцатой общего пространства книги.

Зная наперед основное амплу героя, при описании интеллектуальных запросов автор ставит общественные идеалы юноши на второе место после его занятий баллистикой: "Остались в его бумагах от этого времени *также и кое-какие* беллетристические наброски, философско-политические этюды и т. п.". При переработке текста Тарле подчеркнул сколь малое значение он придает этим находкам: "Здесь он частенько высказывается более или менее либерально, иногда прямо повторяет некоторые мысли Руссо, хотя в общем его никак нельзя последователем идей "Общественного договора""(Тарле 1939-11). Единственное определенное суждение в этой характеристике негативно: Наполе-

⁶ Так, пушкинский Онегин "противоречит себе, и он не только не равен себе, но, кажется, не имеет связи с самим собой" (С. Бочаров. Форма плана. Некоторые вопросы поэтики Пушкина // Вопросы литературы. 1967. N 12. С. 116. Цит. по: Чудаков: 194). О сходной особенности образа Самозванца в "Борисе Годунове" см. Чудаков: 205-206. "Во мне живут два разных человека: человек головы и человек сердца. Не думайте, что у меня нет чувствительного сердца, как у других людей. Я даже довольно добрый человек. Но с ранней моей юности я старался заставить молчать эту струну, которая теперь не издает у меня уже никакого звука", — приводит Тарле слова Наполеона. В высшей степени характерно, что дополняя этой цитатой первые издания, автор как бы не замечает ее замечательной противоречивости ("*живут* два разных человека" — "*не издает уже* у меня никакого звука"); он не склонен и размышлять о психологических мотивах такого признания (оно объяснено "одной из редких минут откровенности"). Автору достаточно заключительной части высказывания, чтобы утвердить тезис о "полной беспощадности в борьбе" "как характернейшей черте Наполеона": "*И уже во всяком случае* эта струна решительно никогда даже и не начинала звучать в Наполеоне..." (Тарле 1957: 31). Нагромождение усилительных конструкций призвано заглушить вырвавшееся признание о внутренней сложности, раздвоенности главного героя. (Сам Тарле, возможно, принял бы сопоставление своего подхода с пушкинским пониманием характеристики исторического персонажа. "Я, как говорится, с молодых ногтей, с самого начала своей сознательной жизни знаком был с ним довольно близко..." — говорил Тарле о своем отношении к Пушкину (Тарле 1963: 211)).

Стремление Тарле, "дав определенное толкование образа", не отступать "от него ни на шаг" было подмечено рецензентом книги о Талейране, и критически оценено Б. С. Кагановичем (Каганович: 72).

он — не последователь идей "Общественного договора"⁷. Для автора важно отделить существенные черты героя от духовного контекста эпохи. Философские и общественные запросы молодого Наполеона трансформированы в невольную дань времени и пространству, нечто привнесенное извне, преходящее, не питаемое иной внутренней потребностью, чем подобающей будущему властелину жадностью "извлечь то, чего он еще не знает и что может дать пищу его собственной мысли". — "...Это тоже коренная черта его ума", — констатирует автор с тщательностью Светония, расчертившего лист на квадраты-рубрики (Тарле 1936: 15-16)⁸. О чтении Наполеоном "классиков просветительской литературы" известно, что "читал он запоем, с неслыханной жадностью" (Тарле 1936: 15). Однако больше, чем имеющийся материал о действительном воззрении молодого Наполеона Тарле интересуют несуществующие сведения, важные для создания "социально-морального типа". "Трудно установить, — сожалеет Тарле, — когда именно появляются в нем первые признаки того отвращения к идеологам революционной буржуазии и ее философии, которые так для него характерны" (Тарле 1936: 15). Образ Бонапарта редуцируется до функционально необходимого с точки зрения последующего изложения (которое, как и выводы из него, дано автору прежде написания).

На героическую телеологию автор отвечает функциональной. Демонстративно отказываясь "наделять своего героя сверхестественными качествами" провидения своей судьбы, Тарле уверенно отказывает ему и в естественных человеческих качествах, если они нарушают эпическую цельность образа. Тарле следующим образом реконструирует (правильнее было бы сказать — постулирует) размышления юноши, который "увлекался "Страданиями молодого Вертера"" (Тарле 1936: 16): "Практические заботы охватили его. Как для него выгоднее всего использовать революцию? И где сделать это лучше? Ответов было два: 1) на Корсике, 2) во Франции" (Тарле 1936: 18). Поначалу Тарле допускал, что Наполеону "нравилось" "учение о равенстве", 1789 год мог "пленить" его "декларацией прав" и он "всецело приветствовал французскую революцию" (Тарле 1936: 18, 19). При переработке книги эта версия отпала; стало окончательно ясно, что отношение героя к революции определялось исключительно тем, что "только теперь личные способности могли содействовать возвышению человека по социальной лестнице". "...Бонапарт учитывал, что французская революция открывает новые пути... для его собственной карьеры" (Тарле 1939: 12). Социальная реальность неспособна смутить героя или дать направление его духовному развитию. Она бессильна отвлечь его от предназначения, сосредоточенного в самой структуре личности. Книга названа "Наполеон": в ней Наполеон Бонапарт всегда император — будущий император, император в настоящем, император в прошлом.⁹

Изменения в поведении героя определяются переменной ситуаций, в которых он оказывается. Они представляют собой смену состояний и, как правило, не мотивированы психологически. Герою не к лицу переживать происшедшее, пребывать в неопределенности. Он с легкостью и уверенностью переносится из одного положения в другое. "...Мне нужно ехать!", — сказал он, как только прочел газету. Решение было принято сразу [...] Наполеон отплыл из Египта с твердым и непоколебимым намерением низвергнуть Директорию и овладеть верховной властью в государстве" (Тарле 1936: 91-92). У читателя создается впечатление, что Бонапарт не только не был мучим сомнениями относительно исхода египетского похода и не искал с начала 1799 года возможности вернуться во Францию, но, на-

⁷ Первоначально авторский комментарий не был пренебрежительным, а рождающийся образ Наполеона оказывался более противоречивым: "Насколько можно судить по ним, молодой офицер был настроен весьма либерально. В некоторых отношениях он прямо повторяет мысли Руссо..." (Тарле 1936: 17).

⁸ См. также другие характерные примеры авторской рубрикации: "тут впервые сказала еще одна черта Бонапарта" (Тарле 1936: 47), "проявилась и другая его черта" (Тарле 1936: 49), "тут проявилась еще одна черта Наполеона" (Тарле 1936: 122) и др.

⁹ Этот подход контрастирует с возможностями исторической живописи Тарле. Лаконичная характеристика Барраса построена на сплетении хорошего и дурного и потому представляет его едва ли не объемнее, чем книга — ее главного героя. Баррас — "коллекция самых низменных страстей и разнообразнейших пороков", "и сибарит, и казнокрад, и распутнейший искатель приключений, и коварный беспринципный карьерист", но одновременно "очень умный и проникательный человек", и "трусом он не был" (Тарле 1936: 35). Противоречивые личные качества Барраса сопряжены с его бурной жизнью: "Смелый, развратный, скептический, широкий в кутежах, пороках, преступлениях, граф и офицер до революции, монтаньяр при революции, один из руководителей парламентской интриги. В рамках краткой аттестации, призванной определить роль Директора как орудия возвышения главного героя, для личности Барраса оказываются находятся живые краски. Перечисляемая множественность его последовательных социальных ролей побуждает читателя задуматься о том, как герой менялся или даже подпасть под сомнительное обаяние его натуры. Может быть, в этом повторяющемся и слабо мотивированном обращении Тарле к разнообразному Баррасу невольно выразилась тоска автора — его главному герою пришлось отказать в праве быть искренним корсиканским патриотом, якобинцем и влюбленным, потрясенным изменой женщины.

против, оставлял в Египте "хорошо снабженную армию, исправно действующий (им самим созданный) административный и налоговый аппарат — и безгласное, покорное, обнищавшее, запуганное население огромной завоеванной страны" (Тарле 1936: 91). Точно так же подготовлена к появлению Бонапарта и историческая сцена Франции начала брюмера VIII года. После перемены декораций герой вновь появляется на подмостках в прежнем амплуа: "...как и всегда, он и тут оставался главнокомандующим, дающим общую директиву начинающемуся делу" (Тарле 1936: 102).

Любовь Бонапарта к Жозефине Богарне представлена в соответствие с образцами средневековой литературы как немотивированное и неотразимое влечение, лишённое психологических оттенков и конфликтов: "С его стороны была внезапно налетевшая и захватившая его страсть. Он потребовал немедленно свадьбы и женился" (Тарле 1936: 40). Сообщать читателю, что "внезапность" и "немедленность" продолжались несколько месяцев, в которые уместилось и объяснение Бонапарта с его прежней возлюбленной Дезире Клари, означало бы нарушить модель повествования.

Тарле учитывает, что государственная деятельность плохо вяжется с отсутствием размышлений, взвешиванием *pro* и *contra*. Еще в 1803 г. Бонапарт "очень надеялся" поставить на колени английскую торговлю, распространив введенную во Франции запретительную систему и на другие страны континента. Идея новая, немедленно исполнить ее невозможно, и сомнения Наполеона оправданы: "Во всяком случае, он тоже колебался" (Тарле 1936: 177). В этом описании колебания выступают как естественная стадия подготовки последующего решения, начало его вызревания. Работая над вторым изданием Тарле ощутил, что это указание на замедленность решения наносит ущерб образу героя. Без упоминания сомнений невозможно объяснить Булонский лагерь и многое другое — и автор нехотя уступил силе фактических обстоятельств: "Но все же он колебался" (Тарле 1939: 90)¹⁰.

Как только герой получал возможность вернуться к военным делам, к нему возвращалась эпическую цельность. Получив известия о невозможности высадки на Британские острова, "*разом* [курсив Тарле], *без колебаний*, Наполеон *принимает* новое решение. *Увидев воочию*, что ...о высадке нечего и думать, он *немедленно позвал* своего генерального интенданта Дарю и *передал* ему для *вручения* корпусным командирам обдуманно заблаговременно диспозиции новой войны: не против Англии, а против Австрии и России." (Тарле 1936: 205) — так рыцарь поворачивает коня навстречу новому чудищу.¹¹ Стремление к описанию Наполеона как лишённого сомнений и саморефлексии воителя сказалось также в трактовке его поведения перед началом войны с Россией. Вначале Наполеон начал "размышлять вслух" и "серьезно изучать этот вопрос", затем "протестовал", "крикнул" и "повторял на все лады свои мысли", "потребовал" от Пруссии и "покончил с [ее] колебаниями одним ударом", "потребовал того же от Австрии", "выехал" и "отправился к великой армии", и, наконец, "подписал свой приказ", после чего "шел прямой дорогой на Вильну" (Тарле 1936: 347-365). Сомнения в успехе вторжения, согласно Тарле, не посещали императора. О них упоминается лишь единожды: немецкий генерал заговорил с Наполеоном о том, что лучше было бы воздержаться от войны с Россией, и Наполеон отвечал: "Еще три года — и я — господин всего света" (Тарле 1936: 359). Наблюдая за переправой через Неман, "он, как всегда, во время войны, был гораздо оживленнее и бодрее" (Тарле 1936: 364). Достаточно сопоставления этого описания с мемуарами Коленкура¹², чтобы убедиться: в описании преддверия и начала войны автор следовал не первоисточникам, а избранной им стратегии повествования. Она проявилась и в последующем отказе Тарле от рассуждений, подкрепленных документальными свидетельствами, о возможности привлечь на свою сторону русских крестьян, объявив от отмене крепостного права. Анализ колебаний Наполеона, происходившей в нем внутренней борьбы оказался неуместен. Во втором издании сохранилось лишь пояснение, почему такой шаг оказался для императора невозможен. Служившее в первом варианте выводом, оно приобрело вид кон-

¹⁰ Допущение, что между 18 брюмера и Маренго «у Наполеона могли быть какие-нибудь колебания и сомнения относительно своего всевластия» (Тарле 1936: 143-144), при переделывании книги отпали.

¹¹ В исторической действительности, дело, разумеется, обстояло иначе: план войны на суше Бонапарт продиктовал Дарю двумя неделями раньше — в ожидании вестей от адмирала Вильнева, продолжая готовить прыжок через Ламанш, колеблясь между двумя решениями, выбор между которыми должно было подсказать развитие событий. (Несколькими строками ниже Тарле приведет высказывание Наполеона, смысл которого опровергает тезис о полной внезапности его решения повернуть на Вену (Тарле 1936: 206). Но это свидетельство включено в ткань иного рассказа (о том, как началась война с третьей коалицией) и тем самым изолировано от предшествующего изложения).

¹² Так, описывая переход Немана 24 июня, Коленкур недвусмысленно утверждал: "Император, который обычно был таким веселым и таким оживленным в те моменты, когда его войска осуществляли какие-либо крупные операции, был в течение всего дня очень серьезным и очень озабоченным" (А. де Коленкур. Поход Наполеона в Россию. Смоленск, 1991. С. 76).

статации, сообщения о том, как в новых обстоятельствах 1812 года, предсказуемо проявилась неизменная сущность Наполеона (Тарле 1936: 397-403; Тарле 1939: 202).

Описание заката империи и карьеры Наполеона представляло особые трудности для автора: резкую смену состояний героя следовало соединить с неизменностью его социальной роли. После Ватерлоо, писал Тарле, "с ним случилась сразу крутая перемена. Он приехал после Ватерлоо в Париж не бороться за престол, а сдавать свои позиции... он, по-видимому, не только понял умом, но ощутил всем существом, что он свое дело, худо ли, хорошо ли, сделал, и что ему сейчас нет места... все потухло сразу и навсегда" (Тарле 1936: 540). Вдумчивость изложения внутренней перемены вступала в конфликт с пониманием Наполеона как "идеального типа" властителя, и Тарле пожертвовал психологической деталью в пользу поучительной скупости. В тексте осталось два утверждения, связь между которыми теперь уже не была опосредована упоминанием о внутреннем мире Бонапарта: после битвы "наружно он был спокоен", а по прибытии в Париж он убедился: "буржуазия покинула его, что он ей не нужен и кажется опасен", и потому "окончательно отказался от продолжения борьбы" (Тарле 1936: 539, 542; Тарле 1939: 291). Тожественность Наполеона Бонапарта и образа правителя была сохранена: первый переставал быть последним не в силу внутреннего конфликта, а под диктатом внешних обстоятельств.

(2) Требования, которые Тарле предъявил к фигуре Наполеона при создании литературного героя, привели к художественной архаизации, полусознательной стилизации повествования под героический эпос. Об этом свидетельствуют и элементы произведения, в которых авторский произвол должен был проявиться наиболее открыто — начальные и завершающие строки книги. "Вступление" Тарле начинал прямым обращением, ориентированным на образцы непосредственного общения с реципиентами, устного повествования: "Человек, биографию и характеристику которого я должен дать в предлагаемой книге, представляет собой одно из удивительнейших явлений мировой истории..." (Тарле 1936: 7). Подобным образом начинается героическое сказание: "Полны чудес сказанья давно минувших дней//Про громкие деянья былых богатырей.// Про их пиры, забавы, несчастья и горе // И распри их кровавые услышите вы вскоре" («Песнь о Нибелунгах» в переводе Ю. Корнеева). Заключало книгу утверждение об особенном месте героя в ряду других героев — Атилла, Тамерлан, Чингисхан, Александр Македонский, Юлий Цезарь¹³.

Героическому сказанию присуща "милитаризация" фабулы, оно немислимо вне рассказа о военных подвигах — "громких деяниях", которые Новое время сопровождало громом пушек. "Мировое побоище 1914-1918 гг., — сообщал автор во второй фразе "Вступления", перебрасывая мост из мира былин и героических повестей средневековья, — само по себе оживило и заострило интерес к человеку, считающемся, по единодушному мнению специалистов, величайшим военным гением мировой истории". Для демонстрации справедливости этого утверждения Тарле извлек имена "бездарных" Нивеля, Мольтке-младшего, Фалькенгайна, Ренненкампа, Янушкевича, Френча и Хэйга, "ограниченных" Людендорфа, Фоша, Алексеева, и "крупных мастеров военного дела" Ганнибала, Цезаря и Суворова, — их нагромождение составило трехъярусный пьедестал для фигуры Наполеона (Тарле 1936: 8-9). Разумеется, действительность наполеоновской эпохи с неизбежностью включает отсылки к истории войн в любое претендующее на целостность жизнеописание Наполеона. Однако в книге Тарле рассказ о войнах и сражениях, независимо от того, участвовал ли в них сам Наполеон, приобрел протяженность и самоценность. Установка на повествование о внешней жизни персонажа и изгнание конфликтности из его внутреннего мира требовали развертывания конфликта вовне.

Во второй части главы о разгроме Пруссии — кампании, в которой французским войскам под непосредственным командованием императора принадлежала полная инициатива, Наполеон как субъект деятельности упоминается десять раз — реже, чем другие действующие лица), а способ его характеристики по-военному функционален: он "шел", "въехал", "стал уничтожать", "не сразу поверил", "понял" (вместе с "Францией и всей Европой"), "ставил условия", "наблюдал", "решил нанести удар", "подписал" и трижды "приказал". С точки зрения автора, именно такой способ характеристики героя, напоминающее лапидарное *veni, vidi, vici*, является адекватным задаче повествования: поведение персонажа подчинено условным рефлексам войны. В рассказе о кампании 1806 года интересен не Напо-

¹³ Одним из критериев такого отбора выступает отдаленность их исторического существования, позволившая реальным лицам обратиться в массовом восприятии прежде всего в мифологические фигуры. Вероятно, именно отчетливость и историчность фигуры Кромвеля сделала его присутствие неуместным в выстроенном Тарле пантеоне великих воителей и правителей — имя революционного генерала и лорда-протектора, в отличие от имени Монка, вообще не появляется на страницах книги; его отсутствие выгодно подчеркивает небывалость главного героя.

леон, но передвижения корпусов и сдачи крепостей: герой почти без остатка поглощен одним из свойств своей литературной роли.

Точно так же при описании Аустерлица полководческая мысль Наполеона подавляется живыми картинами войны. План расчленения союзных армий и их уничтожения по частям не упомянут, и замысел Наполеона сведен к "ловушке" на одном из флангов. С той же вызывающей неполнотой автор освещал и исторический смысл Аустерлица. Назвав "эту кровавую битву" "одной из самых грандиозных во своему значению во всемирной истории", Тарле ограничился военно-дипломатическим комментарием: "Третья коалиция европейских держав окончила свое существование". Зато картина гибели русских на полузамерзших прудах показана дважды (в первый раз от картечи, второй раз от ядер); взор автора прикован к передвижениям союзных императоров ("Франц и Александр убежали с поля битвы", "их свита бежала... и сами они тоже в страхе убежали с поля сражения", "Александр и Франц в темноте спасались от плена", "его [Александра] быстрое бегство продолжалось и в следующие дни"). Действительная грандиозность Аустерлица и величие героя обнаруживается в следующей картине: "По широкой равнине, спотыкаясь поминутно о бесчисленные трупы людей и лошадей, проезжал Наполеон, окруженный громадной свитой, маршалами, генералами гвардии и адъютантами, приветствуемый восторженными криками солдат, отовсюду сбегавшихся к императору" (Тарле 1936: 220-222).

Числа и топография обладают в повествовании собственным очарованием. В рассказе об Аустерлице сообщается, что у Буксгевдена имелось "29 батальонов пехоты и 22 эскадрона кавалерии" (Тарле 1936: 221). В последнем разделе главы о разрыве с Россией читаем: "В 6 часов утра 9 мая 1812 г. Наполеон... выехал из дворца Сен-Клу и отправился к великой армии...16 мая император въехал в Дрезден [...] 15 дней пробыл Наполеон в Дрездене... [...] Из Дрездена Наполеон выехал в Познань, где пробыл несколько дней [...] Из Познани Наполеон выехал в Торн, оттуда в Данциг, где пробыл четыре дня...из Данцига отправился в Кенигсберг, где провел пять дней...20 июня он был уже у Гумбинена, а 22 июня — в Литве, в Вильковишках..." (Тарле 1936: 359-363). В описании войны с Пруссией наряду с Иеной и Ауэрштедтом фигурируют Шлейц, Заальфельд, Пренцлау, Шпандау, Штеттин и другие географические пункты; Наполеон "приказал занять герцогство Гессен-Кассель,...занял Веймар и Эрфурт, Наумбург, Галле, Виттенберг" (Тарле 1936: 237). При изложении условий Пресбургского мира указаны не только Венецианская область и Тироль, но и "княжество Невшатель и Клеве с городом Везелем", Аншпах, Берг, Фриуль (Тарле 1936: 225). Упрек автору в неспособности совладать с деталями был бы поверхостен и неверен. От читателя вовсе не ожидается, что он способен отыскать на карте Шлейц и Фриуль или любопытствует, отчего император поехал в Данциг через Торн: слава воина в перечислении добытых скальпов; их число, а не чувства, испытанные им в походе, отличают обладателя от соплеменников. Эту тенденцию можно выразить и иным сопоставлением: в повествовании Тарле числа и названия мест так же необходимы и значимы, как и перечисление греческих кораблей у Гомера — без этого перечня военные вожди потеряли бы в славе.

Стратегия милитаризации постепенно подчинила себе другие части повествования. Рассказывая о Наполеоновском кодексе Тарле избежал свидетельства, которое было бы неуместно в героическом эпосе: "Моя истинная слава не в сорока сражениях, выигранных мною; Ватерлоо их все зачеркнуло. Но не будет и не может быть забыт Гражданский кодекс". Если не само это выражение, то стоявшая за ним мысль (скрещенная с главным тезисом "Гражданской войны во Франции") стояла перед мысленным взором Тарле, когда в завершении рассказа о Кодексе 1803 г. он пояснил: Наполеон "начал сколачивать буржуазное государство, и сделал это так прочно, что до сих пор оно стоит в своих основах в том самом виде, как он его построил,... потому что все другие революции,...которые с тех пор во Франции происходили не в состоянии были его серьезно пошатнуть" (Тарле 1936: 164). В "Заключении" это утверждение было повторено с большой экспрессией: "Его колоссальные и разнообразнейшие дарования, организаторский гений, инстинкт порядка, ясности, последовательности, громадный и гибкий государственный ум, тонкость и проницательность, логика и отчетливость, сверхчеловеческая энергия и неутомимость — все это в соединении с железной волей позволило ему создать государственную машину и законы гражданские, уголовные, процессуальные, торговые, которыми буржуазная Франция живет до сих пор" (Тарле 1936: 566).

Однако при подготовке второго издания оба приведенных фрагмента были исключены. Если в первом издании значение Наполеона понималось как продолжение (и преодоление) революции в созидаании новых общественных порядков и ведении завоевательной внешней политики, а "его значение в области войны, военной теории и практики... определяется точь-в-точь тем же самым" (наследованием революции), то при переработке книги эта логическая связь была затемнена (Тарле 1936: 566-567; Тарле 1939: 307). В том же направлении производилось и редактирование частных мест. В пер-

вом издании беспокойство, вызванное в России австрийским браком, объяснялось ее одиночеством перед лицом "всемогущего солдата революции, превратившегося в зятя австрийского императора", во втором этот социально насыщенный эпитет уступил место определению видения Бонапарта как "ненавистного завоевателя Европы" (Тарле 1936: 317; Тарле 1939: 177). Для подкрепления этой перемены Тарле вносит дополнения в картину кампании 1809 г., достойные пера летописца времен Чингис-хана: "Наполеон при этом сжег город, причем часть населения (австрийцы) утверждали, что половина населения сгорела живьем. "Мы шли по месиву из жареного человеческого мяса", — говорит о прохождении французской кавалерии через развалины Эберсберга генерал Савари, герцог Ровиго. В этой покрывавшей улицы каше даже вязли копыта лошадей" (Тарле 1939: 168).¹⁴

Благодаря этим изменениям текста "военная теория и практика Наполеона" окончательно приобрели первенствующее, а порой и независимое и самодовлеющее значение в иерархии сфер деятельности героя книги, и три пятых текста "Заключения" Тарле отвел специальному изложению военных достижений своего героя. Мысль о долговечности мирных трудов Наполеона сохранилась лишь в редуцированном виде — как указание на нечто свершенное не им, а через него. В последнем абзаце "Заключения" скупно признавалось: "Мировая империя рухнула, длительное существование было суждено лишь тем делам Наполеона, которые обусловлены и подготовлены были еще до его воцарения детерминирующими, глубокими социально-экономическими причинами" (Тарле 1936: 598-599). И не эти дела, а миф о правителе-воине, торжествовал в авторской концепции; вслед за констатацией тщеты военных побед Тарле с воодушевлением поднявшегося с колен Галилея восклицает: "А в памяти человечества навсегда остался гигантский образ", перекликающийся с образами Цезаря, Атиллы, Александра Македонского и т.д. Тарле объяснил свое первенствующее внимание к военной области деятельности Наполеона тем, что в ней "он оказался тогда несравненным, гораздо более великим, чем во всех других областях своей деятельности" (Тарле 1939: 307)¹⁵ — мысль небесспорная уже хотя бы потому, что сам Тарле считал нужным отметить "замечательные дипломатические способности Бонапарта, по мнению многих историков той эпохи не уступавшие его военному гению" (Тарле 1936: 67)¹⁶. Установка на военизацию истории соединяется в этой формуле с нацеленностью на поиск чрезвычайного, особого внешнего эффекта, определение размеров исторической фигуры Наполеона относительно других легендарных правителей и полководцев.

(3) Социально-художественная концепция Наполеона сопрягалась с установкой Тарле на "марксистское строго научное воззрение на Наполеона, как на человека, не "делавшего" историю, а сумевшего со всеми своими огромными и разнообразными личными силами вложиться в историю, понять ее очередные задачи, воспользоваться подготовленными ею средствами и сумевшего, поскольку он считался с исторической обстановкой и с обусловленными социально-экономической ситуацией возможностями, оказать своей деятельностью влияние на историческое развитие событий" (Тарле 1936: 613)¹⁷.

Реальность, представленная в сочинении Тарле, таким образом, оказалась внешним детерминантом героя-правителя, изначально обособленного от нее уготованной ему ролью. Социальная действительность не формирует героя (здесь важна и трактовка Тарле "разнообразных личных сил" как совокупности "черт", "свойств", "природных данных"), а создает его устремлениям удобства или препятствия. Повествователю чуждо представление, что "история" (понимаемая как превосходная степень реальности) вовлекает человека как изначально социальное существо в свое течение. Напротив, отдельно сформированный индивид, обозревающий происходящее за пределами его сознания, способен в силу имманентных ему свойств к совершению прыжка к историческую реку, способен "вложиться в историю", "понять" и "воспользоваться".

¹⁴ Пожар Москвы Тарле описывает с подчеркнутым объективизмом, и об оставленных (и сгоревших) раненных русских не упоминает.

¹⁵ В первом издании эта мысль была представлена более размыто и менее категорично, так как военная деятельность Наполеона сопоставлялась не только с иными его трудами, но и с военными заслугами предшественников: "В этой военной области он оказался несравненным гением, величайшим из великих, гораздо более великим, чем во всех других областях своей деятельности (Тарле 1936: 567). Смысловой акцент в этом высказывании сделан на слове "гений", которое в новой редакции текста вовсе исчезло.

¹⁶ Обесцвеченное выражение той же мысли во втором издании см. (Тарле 1939: 37).

¹⁷ Вряд ли было бы справедливо увидеть в этом подходе Тарле дань, уплаченную им марксизму. Понятнее реакция Б. Кроче, выразившего сомнение в соответствии изложения "декларируемой автором марксистской доктрине" (Каганович: 64).

Характерна интерпретация обстоятельств, положивших начало возвышению Бонапарта. После возвращения с Корсики "потянулась трудная и скудная жизнь, шел месяц за месяцем, не принося никакого просвета — и вдруг служебная ляжка прервалась самым неожиданным образом". Над Тулоном поднят флаг Бурбонов, осада Тулона революционной армией "шла вяло и неуспешно". Одним из ее руководителей был Саличетти, знакомый Бонапарту по Корсике. "Бонапарт посетил своего земляка в лагере возле Тулона и тут указал ему единственный способ взять Тулон и прогнать английский флот от берега. Саличетти назначил молодого капитана помощником начальника осадной артиллерии" (Тарле 1936: 22, 23). Приведенное описание игнорировало хорошо удостоверенную вовлеченность Бонапарта в обстановку гражданской войны на юге Франции. Прибыв с Корсики в июне 1793 года, Бонапарт не мог месяцами тянуть "служебную ляжку": Авиньон, куда он получил назначение, пал до прибытия Бонапарта. В отбитом у мятежников Авиньоне он пишет и издает на собственные средства "Ужин в Бокере" — лучшее из своих литературных произведений, проникнутое жаром якобинства¹⁸. Вовлекаемый в водоворот событий, в сентябре Бонапарт отправляется на прием к комиссару Конвента чтобы просить о назначении. Революция порождает вакансии и множество "ответственных поручений", и Бонапарту предлагают командовать пушками. Он находит предложенный командующим план смехотворным и потому выдвигает свой собственный¹⁹. Концепция Тарле преодолевала действительные обстоятельства и формировала тот тип отношений исторического деятеля с реальностью, при которой она либо слишком беспросветна сера и рутинна в сравнении с потенциальными героями, либо представляет собой поле его бестрепетной деятельности. Герой должен "вложиться в историю" — явиться из "неисторической" повседневности, в которой он до поры до времени пребывал в неизвестности, и "тут указать единственный способ".

Поначалу Тарле не были чужды сомнения относительно оправданности той модели взаимоотношения героя с социальной действительностью, которая возникала под его пером. Он почти оправдывался, вставляя в повествование особые пояснения: "Все — и крупные, и мелкие условия так складывались в эту пору, что неудержимо несли его на высоту, и все, что он делал или что происходило даже помимо него, поворачивалось ему на пользу" (Тарле 1936: 61); "тут Бонапарт встретился с условиями, сложившимися до него и без него, но его мысль поняла эти условия, его воля сломала препятствия, его колоссальные дарования позволяли ему дерзнуть начать попытку реализации" (Тарле 1936: 72). "Эта пора" и "тут" приложимы почти ко всему повествованию, и при новой обработке текста Тарле освободился от разъяснений, сохранив их растворенный в тексте смысл. Редуцирование личности героя до его исторической функции нуждалось в образе безжизненной социальной реальности, понимаемой как "условия" или "историческая обстановка". В книге Тарле эти модели взаимно обуславливали друг друга и скреплялись общей ориентацией на эпические образцы. Поэтому произведенный автором в 1937-1938 гг. действительно крупный пересмотр проблематики взаимоотношений Наполеона с революцией (см. ниже) не разрушил, а скорее укрепил концептуальные основы повествования.

(4) "Автор считает своей основной целью изобразить [во втором издании — «дать»] возможно более отчетливую картину жизни и деятельности первого французского императора..." — формулировал Тарле свою задачу (Тарле 1936: 10; Тарле 1939: 7). Определение Наполеона Бонапарта "как первого французского императора" сопрягается с эпической вылитостью его фигуры: герой предстал как первый в ряду европейских правителей нового времени. Эпичность изложения и идеологичность задачи гармонируют с внеисследовательским характером письма, избранным Тарле в книге о Наполеоне.

Образ "первого французского императора" именно "представлен" ("изображен", "дан"): все леса и подмостки, поднимаясь по которым автор постигал героя, вместе с читателем двигался к его пониманию, отсутствуют. "Картина" набрасывается широкими мазками и без видимых усилий. Во вступлении Тарле назвал свою книгу "результатом самостоятельного исследования", "сжатой сводкой тех выводов, к которым автор пришел после изучения как архивных, так и изданных материалов" (Тарле 1939: 7). Сказанное подтверждено двадцатью страницами библиографии, включающей и "архивные материалы, легшие в основу как этой книги, так и других работ автора о Наполеоне, использованных им в данной книге" (Тарле 1939: 336). Реестр документальных коллекций был дополнен указанием: "Кроме того, были обследованы архивы: департаментов Нижней Сены и Нижней Роны, работа велась в рукописном отделении Королевской библиотеки в Гааге, в Kommerz-Bibliothek в Гамбурге и в Бер-

¹⁸ Тарле относит издание "Ужина в Бокере" на зиму 1793-1794 г., в "брошюре" "он доказывает восставшим на юге городам, что их положение безнадежно" (Тарле 1936: 25).

¹⁹ См. (Манфред: 75-77).

линской королевской библиотеке" (Тарле 1939: 337). Объяснения Тарле о систематической научной разработке им наполеоновской темы и подкрепляющий их ученый набор, появились лишь во втором издании, осеннем авторитетом академической науки. Из архивных материалов Тарле выясняется, что по мнению некоторых современников, английские рабочие не опасались ухудшения своего положения в случае французского завоевания (Тарле 1939: 102), что в 1810 г. Наполеона извещали о проникновении английской контрабанды с "северного побережья" Европы (загадочным образом Тарле интерпретировал это выражение как указание на побережье, находящееся под властью "русского царя") (Тарле 1939: 190). Напрасно было бы пытаться понять, какова значимость этих архивных находок для понимания Наполеона. "Вот наудачу одна из документальных иллюстраций...", — с чарующей непосредственностью пояснял автор способ функционирования архивных сведений в его работе (Тарле 1939: 102).²⁰ Ничего иного рассказчику и не требовалось: исторический и литературный персонаж известен ему во всех важных проявлениях прежде, чем биография была начата.

По своей природе это знание принципиально отлично от плодов работы исследователя²¹, и показательно, что Тарле не предпринял сопоставления данных своей прекрасной памяти с письменными источниками.²² Личная память автора едва ли не "превосходит" письменные материалы. Повествуя о том, как "тотчас после взятия Вены французам без боя удалось захватить громадный мост" через Дунай, Тарле сделал небольшое отступление: "О взятии этого моста ходило много анекдотических рассказов, один из которых (несколько неточный и приукрашенный легендой) хорошо знаком русским читателям по второй части "Войны и мира". На самом деле было так: ..." Следующий за этим уведомлением рассказ отличается от изложения этой истории Билибиным лишь большей краткостью и, естественно, меньшей живостью изложения (Тарле 1936: 215).²³ Независимо от того, насколько буквально персонаж "Войны и мира" воспроизвел захват Таборского моста (что, безусловно, не имело никакого отношения к смыслу описываемого разговора Билибина с князем Андреем), характерны претензия автора на обладание точным знанием, недоступным иным рассказчикам, запальчивое оспаривание их версий, и разговорная интонация — интонация свидетеля. Без всякой на то нужды "поправляя" второстепенного героя романа, Тарле выступил как историк, но "врал как очевидец". Ему не было нужды сопоставлять свое знание с противоречащими этому знанию свидетельствами, его самоуверенность и возможные ошибки памяти так же естественны и законны, как присущие рассказчику, воочию видевшим происшедшее. Из рассказа Тарле о дерзости французов читатель узнавал о существовании некоего Дода, саперного полковника, которого маршалы, отправляясь к Ауэрспергу, будто бы захватили с собой. Это все, что сказано о Додде, но его присутствие необходимо для "эффекта присутствия" автора: свидетельские показания всегда содержат несущественные детали.

Осознание владения истиной сопрягалось в повествовании со снисходительно-разговорной интонацией, особенно явной, когда речь заходила о человеческих слабостях и пороках ("ровно ничего", "немножко"). Сообщая, что численность гвардии в 1805 г. составляла семь тысяч человек, Тарле в скобках вставил пояснение: "потом их стало больше, я говорю лишь о 1805 годе" (Тарле 1936: 209). Смысловая обязательность (подтвержденная последующими изданиями книги) выражения "я говорю лишь о 1805 годе" была вызвана отнюдь не опасением, что читатель может ошибиться в счете, или трепетным отношением к сюжету (о создании после Эйлау "молодой гвардии" ничего не сообщается), а выражало безыскусную потребность сообщить слушателю впечатление от зрелища мерно колышавшихся медвежьих шапок. Тяга к преодолению фиксированной письменной речи и к непосредственному обращению к аудитории ("Мы только что говорили..." (Тарле 1936: 321)) связана с заключенной в тексте возможностью новеллистических вставок или такого же его сокращения — так аэд исполняет песнь, поглядывая на собравшихся вокруг него слушателей, варьируя сказание под влиянием побоч-

²⁰ См. также мнение К. П. Добролюбовского о склонности Тарле отдавать "предпочтение неопубликованным материалам только потому, что они неопубликованы" (Каганович: 57).

²¹ В этом отношении стремительное создание "Наполеона" интересно сопоставить с творческой историей "Петра Первого" — другого историко-биографического и героико-эпического знамения 1930-х годов (См. А. В. Алпатов. Комментарий//А.Толстой. Петр Первый. М., 1947. С. 786-798).

²² Например, имея возможность обратиться к тексту послания, которое через Балашова Наполеон направил своему царственному противнику летом 1812 г. и которое недвусмысленно характеризует образ мыслей отправителя, Тарле ограничился замечанием: "более чем вероятно, что тон этого отказа [от переговоров] был действительно резким и оскорбительным" (Тарле 1936: 368).

²³ Другое различие вызвано тем, что Тарле называет участниками дерзкого предприятия Мюрата, Ланна, Бертрана и полковника Дода, Толстой — Мюрата, Ланна и Бельяра. А. З. Манфред тактично поправляет Тарле и следует версии Толстого, оговаривая, что в своих мемуарах маршал Мармон упоминает только первых двух (Манфред: 466).

ных обстоятельств²⁴. Подобно сказителю, Тарле не смущается и применением поллюбившихся ему речевых клише, прилагая их к разным героям (о Фуше: "перед 9 термидора он смело поставил голову на карту... Для Талейрана подобное поведение было бы немислимо" (Тарле 1959: 64); о Баррасе, "создавшем внешнюю рамку событий 9 термидора": "в отличие, например, от Талейрана он был смел и умел ставить жизнь на карту..." (Тарле 1936: 99).).

Однако такой способ развертывания авторской индивидуальности приводил и к ее опровержению. Утверждая, что "на самом деле дело было так", автор растворялся в событии. Сливаясь со свидетелем происшедшего, он усваивал его пассивность и другие свойства "рядового свидетеля", превращается в рассказчика, который примеряется к своему слушателю, стремится учесть его вкусы. В конечном счете, таким приспособлением к массовому слушателю-зрителю-читателю, к его ожиданиям узнать у ученого человека, как оно было "на самом деле", оказываются и отсылки Тарле к академической науке.

(5) Одна из особенностей книги Тарле состоит в том, что его главный литературный герой изначально является историческим персонажем, тогда как большинство других действующих лица становятся ими по ходу повествования. Наполеон заведомо известен каждому читателю, тогда как первая встреча с Сийесом и Даву и многим их соседям по контексту большинству приступающих к чтению книги Тарле еще предстояла. Разбирая структуру образа Наполеона как подлинного лица, введенного в вымышленный контекст "Войны и мира", Л. Я. Гинзбург, отмечала, что она "заведомо двойная, основанная на том, что у читателя есть представление о Наполеоне": это в предельной степени творение Толстого, концепция Толстого, но живет этот образ непрерывным сравнением с *настоящим* Наполеоном" (Гинзбург: 8). Эффект "двойной структуры" восприятия героя учитывается Тарле, который предупреждал читателя о необходимости "хотя бы общего знакомства с эпохой" (Тарле 1936: 10). Автору предстояло определить будет ли его историческое лицо помещено в такую систему описания, в которой его поведение как литературного персонажа будет преодолевать или подтверждать (и корректировать) прежде сформированное восприятие героя.

Напряжения между двумя уровнями структуры (предполагаемым читательским восприятием и формируемым автором видением) возникало главным образом в полемике с "наполеоновской легендой". Автор стремился снять с исторического образа "наслоения" романтизма — операция, которая не могла обойтись без последствий для оперируемого: "легенда сама является фактом культуры" (Г. П. Федотов²⁵). Поначалу Тарле еще вспоминался "юный Энгельс 1840 года, написавший оду на перенесение праха Наполеона во Дворец инвалидов" (Тарле 1936: 591), из последующих изданий эти реминисценции были устранены. "Наполеоновская легенда" основывалась на восхищении перед неограниченными возможностями человека, его способности определять свою судьбу. Отвергая имманентные судьбе Наполеона романтические трактовки ("Какой роман моя жизнь!"), Тарле вместе с тем редуцировал самосознание эпохи и подавлял описание Наполеона как воплощения европейского индивидуализма. Единственный раз приводит Тарле строки Пушкина, посвященные Наполеону, и чрезвычайно показательно, каковы эти избранные автором строки:

Таков он был, когда в равнинах Австерлица
Дружины севера гнала его десница,

²⁴ При подготовке второго издания в книгу вошли трогательные сцены общения Наполеона с трехлетним сыном (римским королем): "Наполеон так любил это маленькое существо, как он в своей жизни никогда никого не любил. Зная Наполеона даже не подозревали в нем вообще способности до такой степени к кому бы то ни было привязываться" и т. д. (Тарле 1939: 255). Это изменение можно было бы считать намерением внести дополнительную эмоциональную струю в описание Наполеона, если бы одновременно не подвергся изъятию рассказ о его привязанности к другому ребенку (маленькой английской девочке), возникшей на острове Святой Елены (Тарле 1936: 557). Возможно, новая редакция учитывала поворот к традиционным семейным ценностям, отчетливо проявившийся в 1936 г., после того, как работа Тарле над книгой была завершена. Так, известный декрет августа 1936 г. существенно усиливал ответственность отцов за обеспечение детей. Новый закон затруднил процедуру разводов, дополнив ее судебными слушаниями и уплатой более высокой пошлины. Параллель этим законодательным и соответствующим пропагандистским усилиям государства отыскивается и в описании развода Наполеона с Жозефиной. Рассказ о легкости и стремительности, с которой император добился развода и вступил в новый брак, в издании 1939 года был дополнен большим абзацем о том, сколь нелегким было для Наполеона расставание с женой, несмотря на заурядность ее личности ("он все-таки любил ее", "он продолжал ее любить", "они расстались, но в ближайшие дни Наполеон ежедневно ей писал самые любящие письма" и т. д. (Тарле 1939: 174-175)).

²⁵ Цит. по: Я. С. Лурье. История России в летописании и в восприятии Нового времени // Россия древняя и Россия новая. Спб., 1997. С. 26.

И русский в первый раз пред гибелью бежал,
 Таков он был, когда с победным договором
 И с миром и с позором
 Пред юным он царем в Тильзите предстоял...

Читатель книги Тарле остается в неведении о том, *каков* "он был"²⁶; об этом Пушкин говорил двумя строками ранее:

То был сей чудный муж, посланник провиденья,
 Свершитель роковой безвестного веленья,
 Сей всадник, перед кем склонилися цари,
 Мятежной вольности наследник и убийца...

Это определение выражало суть восприятия образа Наполеона Бонапарта "героической историографией". Культ Бонапарта соединял изумление перед нечеловеческой природой гения с *распрямляющим* обожанием нового социального героя; он требовал подражания и указывал "высокий жребий" не только героям Стендаля, Беранже и Гюго, но и — по мысли Пушкина — "русскому народу".

Изгнание из повествования культа Наполеона как феномена европейского индивидуализма поэтому влекло за собой два существенных последствия. Поведение и образ мысли Наполеона Бонапарта оказывался непосредственно замкнутым на социальную реальность, очищенную от общественных настроений и идей, и это заставляло Тарле балансировать на грани примитивного социологизма²⁷. Невозможность сведения героя к продукту игры классовых сил и искреннее "восхищение Наполеоном как колоссальной исторической фигурой" (Каганович: 60) приводит к необходимости описания этой "гигантской личности" (Тарле 1936: 10). Внешний по отношению к общественному духу эпохи способ описания персонажа, порождает неизбежность применения к нему внешних характеристик и количественных эпитетов, отдаляющих героя от его социального окружения — "великий", "величайший", "громадный", "колоссальный", "гигантский", "сверхчеловеческий", "несравненный"²⁸. Героическая историография" сменяется ее архаизированной версией, демистификация образа Наполеона Бонапарта оборачивается ее мифологизацией.

В результате созданный в книге Тарле образ не нес концептуального вызова вариациям облика Наполеона, каким он сложился в обыденном (традиционном) и даже просвещенном общественном сознании. Произведение Тарле не столько вступало в спор с заранее сложившимся читательским представлением, сколько упорядочивало его: историческая мифология развенчивает и поглощает ли-

²⁶ Тяготение к эпичности повествования сказалось и в выборе поэтической цитаты, и в построении всего сюжета тильзитского свидания. В центре внимания автора переговоры на неманском плоту и взгляд русских на происходящее на пограничной реке, но отнюдь не "Наполеон глазами современников". Об этом свидетельствует и различия в функционировании свидетельства Дениса Давыдова в первом и втором издании. Первоначально его мемуары были привлечены для сжатой в одну фразу характеристики Наполеона (Тарле 1936: 267-268). Впоследствии Тарле развернул ссылку на русского офицера в три абзаца, указав, что делает это с целью ввести читателя "во все переживания тильзитской встречи" (Тарле 1939: 149). В текст оказались включены новые подробности и сожаления по поводу того, что Давыдов лишь кратко передал восприятие современниками Александра I. Автор специально оговаривает, что "только после революции у нас стали правильно печатать этот [пушкинский] текст; во всех старых изданиях вводилось смягчение ("с миром иль с позором"), искажавшее мысль Пушкина" (Тарле 1936: 268) (Неуместность этих текстологических пояснений особенно заметна при сопоставлении цитирования стихотворения "Недвижный страж дремал на царственном престоле..." в первом и втором изданиях книги Тарле: "И с миром и с позором пред юношей-царем в Тильзите предстоял" (Тарле 1936: 268); "И с миром и с позором// Пред юным он царем в Тильзите предстоял (Тарле 1939: 149)). Под влиянием правки читательское восприятие фигуры Наполеона оказалось расфокусированным, а сама она обедненной: Тарле снял некоторые из эпитетов, в которых мемуарист передал свое волнение от присутствия Бонапарта. Чуткость Тарле к общественным представлениям эпохи проявилась скорее в описании этого и иных событий, чем в изображении главного героя, "огромность зрелища" (цитируемые во втором издании слова Давыдова) заслоняет психологическую драму Тильзита.

²⁷ Об этом свидетельствуют практические выводы, которые автор делает из своей первой инвективы против "героической историографии": "Те бесчисленные биографы и историки Наполеона, которые склонны наделять своего героя сверхъестественными качествами мудрости, пророческого дара, вдохновенного следования своей звезде, хотят уловить в двадцатилетнем артиллерийском поручике оксоннского гарнизона предчувствие того, чем для него лично будет разразившаяся в 1789 году революция. На самом деле все обстояло гораздо проще и естественнее: по социальному положению своему Наполеон мог только выиграть от победы буржуазии над феодально-абсолютистским строем" (Тарле 1936: 17-18).

²⁸ Парадоксально, что позднее Е. В. Тарле упрекнул Пушкина за то, что в отрывке "Мятежной вольности наследник и убийца", "он характеризует Наполеона с чисто внешней стороны" (Тарле 1963: 220).

тературный романтизм. Вместо двойной структуры образа рождается единый нормативный концепт, включающий в себя едва ли не все версии, включая такие ходульно-провиденциальные как отплытие из Египта "с твердым и неколебимым намерением низвергнуть Директорию". Произведение, создаваемое как "классическое" (Каганович: 60), обязано быть банальным.

* * *

Самотождественность героя в диахронии его биографической жизни и в синхронии его представления в сознании читателя и читаемом тексте обеспечивали предсказуемость поведения литературного героя. Для "архаических форм литературы, для фольклора, для народной комедии" достаточно называния имени героя, чтобы предсказать развертывание его свойств. "Индекс поведения персонажа был читателю задан, заведомо заключен в самой литературной роли". В мире традиционной культуры "свойства персонажа определены заранее, за пределами данного произведения, определены условиями жанра с его наборами устойчивых ролей" (Гинзбург: 18).

Оставаясь в кругу литературоведческих понятий, вероятно, следует заключить, что повествование о Наполеоне основано на инверсии обычной взаимосвязи между литературной системой и свойствами персонажа, авторская концепция героя как героя эпического предопределила архаизацию всего труда при легкости и поучительности изложения. Размышления Л. Я. Гинзбург могут, однако, помочь и пониманию источника этой авторской концепции, если под "условиями жанра" понимать и правила культурной "языковой игры", в которую включился Е. В. Тарле. Уже в предреволюционные годы обозначилось отрицание "психологизма мятущейся личности" (Вяч. Иванов) ради тяготеющего к мифу искусства большого стиля. К середине 1930-х утомление "кисло-сладким лимонадом психологий" (Б. Пильняк) слилось с пресыщенностью разоблачительным антиэстетизмом. Культура социалистического реализма складывалась как "мучительный компромисс между искусством старых мастеров, фольклором, идеологией и некоторыми элементами популярного коммерциализированного искусства", так что "после 1936 г. практически вся советская массовая культура оказалась "фольклоризированной" (Stites: 66, 67). Книга Тарле оказалась ей созвучна.

III. Мартовские иды

Многосторонний смысловый заряд книги о Наполеоне, подтвержденный ее функционированием в 1937 г. за пределами культурного поля, делает уместным распространение понятия "языковой игры" на социальную практику. В этом случае трудность анализа состоит в том, что в середине 1930-х годов правила такой игры не только не определились окончательно, но напротив, находились в стадии бурного и противоречивого становления. "Наполеон" должен поэтому рассматриваться как один из важных экспериментов в области нового политического мышления. Более того, именно в этом социально-политическом контексте созданный Тарле образ Наполеона обнаруживает действительную многомерность и проблематичность. Становится понятно и то волнение, с которым подготовленный читатель встретил появление книги Тарле, а сопоставление ее второго издания (1939) с первой ("радековской"?) версией (1936) позволяет лучше понять направленность идейных поисков второй половины 30-х годов, в значительной степени подчиненных проблеме выросшего из революции единоличного правления и его отношения к наследию этой революции.

Формирование эпически цельного образа Бонапарта и упорядочение относящихся к нему представлений, произведенные в книге Тарле, привели к созданию "героя истории, стоящего "по ту сторону зла и добра"" (Каганович: 65).²⁹ Но поначалу этот социальный герой был вызывающе неоднозначен.

²⁹ Это проницательное определение, не получившее развития в книге Б. С. Кагановича, адресует к кругу европейской мифологии и ее функциональной значимости в условиях советских 1930-х. Сопоставление идейной атмосферы произведений Ницше и "Наполеона" Тарле не лишено оснований. Преодоление в рассматриваемом повествовании "мещанской" по своему социальному пафосу "наполеоновской легенды" ограничивало анализ устремлений эпохи личностью героя, взаимодействующего с социологически структурированным социумом, лишенным самостоятельной духовной ценности. В книге Тарле не было поэтому места не только изображению "среднего" человека, но и рассказу о любимых Бонапартом Дезэ и Ланне. Замечательные исторические персонажи эпохи, если только они не короли и не императоры, недостойны внимания автора и его читателя, ступают перед статусным величием главного героя. В воспоминаниях Г. Серебряковой рассказывается о споре, возникшем у нее с Г. С. Фридляндом и Е. В. Тарле из-за оценки исторических новелл С. Цвейга "Шозеф Фуше" и "Мария-Антуанетта" (свидетельство Серебряковой, вероятно, относится к 1935—первой половине 1936 г.). "...Творчество Цвейга...пытается угодить мещанству... Средний человек — жертва мировых сдвигов.

(1) Одной из главных тем книги является образ правления "первого французского императора". Основное возражение против конкурирующих трактовок этого феномена (и едва ли не главный свой тезис) Тарле изложил с полной отчетливостью: "В Наполеоне было не только честолюбие, но и властолюбие, которое далеко превосходило своей силой даже его жажду славы [...] Бесплодные, т. е. не сопровождаемые прямыми политическими выгодами, победы Наполеону никогда не были нужны"; "власть и слава — вот были личные его страсти, и притом власть даже больше, чем слава" (Тарле 1936: 9, 595). На образ героя таким образом проецируется ценностный и идеологический конфликт, для разрешения которого автор призывает "действительного" Наполеону.

Ценностям общественного признания, славы, любви и уважения, которыми одушевлялась "наполеоновская легенда" и которые отыскивались и укоренялись ею в образе Наполеона Бонапарта, противопоставлены критерии эффективности власти, индифферентной к общественной морали и следовавшей правилу: "ни одной бесцельной жестокости — и совсем беспощадный массовый террор, реки крови, горы трупов, если это политически целесообразно" (Тарле 1936: 69-70)³⁰. Конфликт между традиционным ("патриархальным") определением опоры властвования и пониманием Наполеона особо подчеркнут в книге Тарле: "Не любовь, а страх и корысть — главные рычаги, которыми можно воздействовать на людей: таково было его твердое убеждение" (Тарле 1936: 595). "...Когда о каком-нибудь короле говорят, что он добр, — значит, царствование не удалось", — приводит он поучение Наполеона (Тарле 1936: 123).

Однако описанная Тарле практика выходила за рамки этих максим: методы наполеоновского властвования, как их представило издание 1936 г., обнаруживали патерналистскую широту в понимании государственной выгоды. "Не грабьте, — увещевал Наполеон своих генералов. — Я вам дам больше, чем вы могли бы взять". Чего он не прощал и за что карал беспощадно — так это за недобросовестное хозяйничанье командиров с суммами, отпускаемыми на содержание полка. На смотрах он зорко следил не только за выправкой солдат, но и за тем, имеют ли они довольный и сытый вид, и сурово взыскивал с виновных" (Тарле 1936: 277-278). "Рабочий "должен быть сыт", — и префект Парижа с трепетом входил рано утром в императорский кабинет с ежедневным докладом о ценах на рынках (Тарле 1936: 587-588)³¹. Согласно первоначальному описанию, "зоркая требовательность" сочеталась у Наполеона с "непрерывной тяжелой работой без праздников и передышки": "Ну, ну, граждане министры, проснитесь, теперь всего два часа ночи, нужно зарабатывать то жалованье, которое нам платит французский народ!" (Тарле 1936: 595, 160). Назидательность этих замечаний подкреплялась указанием на эффективность мер по дисциплинированию государственного аппарата и его строгой централизации: "Отчетность и контроль в каждом ведомстве был организован так, что каждый казенный грош должен был быть на точном и явственном учете"; "казнокрады... в первый раз после 9 термидора почувствовали неуверенность в будущем и пришли к заключению, что их специальность становится при Бонапарте почти такой же опасной, каковой была при Робеспьере", и "в конечном счете воровства стало гораздо меньше" (Тарле 1936: 126-127). Для советского читателя это выглядело едва

Его одного, а не причину социального взрыва видит всегда перед собой Цвейг", — "багровея и повышая голос, ярился Фридлянд", "а Тарле, посмеиваясь, поддержал его" (Серебрякова 1980: 79-80). Насмешки Тарле над попытками описания добродетелей вызваны вовсе не тем, что Наполеон не обладал некоторыми из них, а потому, что герою Тарле не было в них никакой нужды. Свойства "неограниченного повелителя" не должны иметь ничего общего со "стадным человеком в Европе", прославляющим "как истинно человеческие добродетели те свои качества, которые делают его смиренным, уживчивым и полезным стаду" ("По ту сторону добра и зла", 199). Разумеется, суть дела не изменяет то обстоятельство, что у истоков такой оценки Наполеона стоял он сам, утверждая: "Обыденные радости так же противны моему сердцу, как и заурядное страдание".

³⁰ Во втором издании — "...если это нужно для подчинения завоеванной страны" (Тарле 1939: 38).

³¹ Во втором издании эти концептуально значимые наблюдения над методами наполеоновского властвования подверглись исключению (Тарле 1939: 155, 318) Сходным образом, черты личности Наполеона, сопряженные с его пониманием пользы для Франции наук и искусств, подверглись редуцированию (Ср. "Бонапарт обладал настолько жадно-любопытным умом, что с сочувствием и вниманием относился к своим ученым спутникам, которых взял с собой в экспедицию" (Тарле 1936: 84); "Бонапарт всегда [sic] питал к ученым сугубо утилитарное отношение. Он никогда [sic] не проявлял глубокого уважения к гениальным изысканиям своих ученых современников, он давно выбросил из ума самое понятие о человеческом прогрессе, даже в его лексиконе отсутствует это выражение, но он великолепно сознавал, какую огромную пользу может принести ученый, если его направить на выполнение конкретных задач, выдвигаемых военными, политическими или экономическими обстоятельствами. С этой точки зрения он с большим сочувствием и вниманием относился и к своим ученым спутникам, которых взял с собой в эту экспедицию" (Тарле 1939: 47). См. также сходное добавление во втором издании (Тарле 1939: 93).

ли не чудесным претворением в жизнь "Очередных задач Советской власти" и "Шести указаний товарища Сталина", но из второго издания ему приходилось узнать, что наполеоновская модель все же малоэффективна: "Но вообще казнокрадство не было, конечно, уничтожено" (Тарле 1939: 70), а о бесменном труде правителя в нем и вовсе не говорилось.

Если в первой версии книги о Наполеоне, страх, корысть и любовь соединяются в его правлении,³² то при подготовке второго издания Тарле отказался от утверждения, что "любовь к нему, доверие к его целям, к его гению и непобедимости — вот что поддерживало дисциплину не менее, чем военные и страшные товарищеские суды" (Тарле 1936: 209)³³. О возможности стремительного продвижения по службе солдаты Наполеона, согласно первому изданию, "знали" и "были осведомлены" (Тарле 1936: 209-210). Позднее окажется, что они лишь "верили" в это и "охотно вспоминали, в каком чине начали свою службу" генералы Бонапарта (Тарле 1939: 117), и неудивительно — во втором издании исчезло точное описание: "Они после каждой битвы на себе и своих товарищах видели, как неслыханно щедр Наполеон на награды"(Тарле 1936: 210). Избежать рассказа об этой реалии наполеоновского правления автор не считал возможным, но при подготовке второго издания придал ей редуцированный, "классовый" смысл. Рассказывая о награждении сановников и маршалов Империи после Тильзита, Тарле разрядкой выделил тот факт, что были щедро отмечены "все офицеры и *все солдаты*" (Тарле 1936: 277); при переиздании книги последним не повезло: отныне вознаграждение получали "все офицеры армии и гвардии" (Тарле 1939: 154)³⁴.

В итоге переработки книги образ Наполеона как правителя нового социального типа, явственный в биографии 1936 года, отступил в тень и более не противопоставлялся старым монархическим образцам.³⁵ Архетипическое, "художественное" изображение властелина получило полное преобладание над историческим, социально своеобразным в его государственной деятельности.

(2) Этот пересмотр первоначальной концепции "Наполеона" как нового "Государя" достиг своего завершения в разрыве автора с пониманием своего героя как образца органичного завершения (преодоления) великой революции.

В соответствии с первоначальным замыслом, в самых драматических моментах рассказа о деспоте-гении перед читателем вдруг возникал, пусть и "давно забытый", "образ молодого революционного генерала, опоясанного шерстяным шарфом с солдатской саблей на боку, отогнавшего от Тулона английскую эскадру своими батареями и отнявшего Тулон у белых изменников, у контрреволюционеров-предателей и вернувшего город республике; образ друга Огюстена Робеспьера-младшего, образ "генерала Вандемьера", расстрелявшего картечью на улицах Парижа дворян, попов, всю монархическую нечисть, которая хотела тогда... вернуть Бурбонов" (Тарле 1936: 454-455) — ведь то, "что

³² Тарле особо отмечал, что несмотря на прикосновенность Моро к заговору против первого консула, "Наполеон смягчил участь Моро" (Тарле 1936: 189; ср. Тарле 1939: 107). Образ "доброго правителя" отозвался и в первоначальной характеристике императрицы и ее отношений с Наполеоном: "Шли годы, Жозефина вела себя примерно, императрица она была очень добрая, ее любили; мужа своего она сильно побаивалась, но привязывалась к нему все больше" (Тарле 1936: 311-312). При переиздании от этой характеристики осталось лишь: "Шли годы, мужа своего она сильно побаивалась" (Тарле 1939: 174).

³³ Место этого высказывания заняло указание, что "в его глазах солдаты были пушечным мясом" (Тарле 1939: 112). "Фамильярные, ласковые, любовные клички", которые давали ему солдаты Тарле первоначально объяснял верным инстинктом, говорившим "французской крестьянской армии, что ее император вышел из революционных рядов", "что в завоевываемых им местах крестьяне перестают быть крепостными, а дворяне не смеют безнаказанно бить по щекам встречного и поперечного, кто не снимает перед ними шапки", "что *вне* пределов Франции, в завоевываемой Европе их вождь выполняет революционное, а не контрреволюционное дело" (Тарле 1936: 209). Приведенное рассуждение было устранено, и вытекавшие из него слепая вера и повинование солдат императору становятся следствием умелых манипуляций тирана и беспомощности толпы.

³⁴ Сходные живые рассуждения о том, как Наполеон умел вознаграждать — "поцелуем в уста перед фронтом", орденом, "крупными денежными раздачами" — "генералов, офицеров и солдат" (Тарле 1936: 583-584) в новой редакции "Заклучения" также подверглись изъятию.

³⁵ "...Во главе Пруссии стоял король, хвалившийся тем, что он первый бранденбургский дворянин и помещик, во главе Франции стоял диктатор, который сознательно ставил одной из центральных задач развитие самостоятельного национального государства с могучей промышленностью и сельским хозяйством и абсолютно полное проведение принципа частной собственности на средства производства и на землю", — так писал Тарле только для первого издания (Тарле 1936: 231). Во втором издании к характеристике введенных Наполеоном "рабочих книжек" был прибавлен эпитет "полукрепостнические" (Тарле 1939: 318).

было сделано революцией", "худо ли, хорошо ли, хотя и мало — было удержано Наполеоном" (Тарле 1936: 455)³⁶.

Как правило "революционным "генералом Вандемьером", "Робеспьером на коне" (Тарле 1936: 39, 363, 233) Наполеон предстает в представлениях различных общественных групп или противников, но и сам автор неожиданно признает его "победоносным солдатом, порожденным французской революцией" (Тарле 1936: 195; ср. Тарле 1939: 110). Симпатии простого народа — рабочих, ремесленников, крестьян, солдат — от Маренго до "Ста дней" сопровождают Наполеона образца 1936 г. (Тарле 1936: 141-143, 460, 490, 502, 510, 513, 541-544, 589)³⁷. Чувства, связывавшие Наполеона с простым народом и особенно с солдатами, при переиздании книги Тарле оказались гораздо более односторонними и вовсе не такими прочными, какими они представлялись автору вначале (Тарле 1936: 588; Тарле 1939: 318), граница между переживанием человеческой привязанности и использованием народного обожания в политических целях была проведена с большей отчетливостью (Тарле 1936: 595; Тарле 1939: 323). То обстоятельство, что в 1812 году Наполеон не сделал ставку на крестьянскую войну, а в 1815 г. на якобинскую революцию, Тарле признавал достойной тщательного обсуждения проблемой (Тарле 1936: 377-378, 393, 541, 558-559; ср. Тарле 1939: 210, 218, 220, 293, 300). Читателю предлагалось задуматься над "революционным происхождением" Империи и над тем, почему несмотря на это Наполеон "не пожелал в конце своего поприща призвать на помощь плебейскую массу, как он старался забыть все старые свои связи с ней и как этим ускорил свою гибель" (Тарле 1936: 592-593). Все отмеченные места, как и автохарактеристика Бонапарта ("Я — сын революции" (Тарле 1936: 523), подверглись тотальному исключению при подготовке второго издания. В нем появилась новая тема: страх Бонапарта перед восстанием французских рабочих (Тарле 1936: 333, 341; Тарле 1939: 186-187).

Генетическая связь революции и Бонапарта уничтожается, в его отношении с якобинцами вписывается новая страница: в отличие от роялистов "их Наполеон в самом деле ненавидел, в самом деле преследовал. Ведь сам-то он никогда революционером не был" и т. д. (Тарле 1939: 79-80)³⁸. В реестре "самых характерных черт наполеоновского правления" почетное место было отведено "жестокой, вне всяких установленных законных рамок, абсолютно произвольной расправе с якобинцами" (Тарле 1939: 80)³⁹.

Пожертвовав несколькими диалектическими мыслями Герцена и Энгельса о Наполеоне и Французской революции (Тарле 1936: 539, 591), Тарле обратился к сложной хирургической операции над классическим анализом этой темы в "Святом семействе". Из обширной цитаты, приведенной в первом издании, была изъята ключевая формула ("Наполеон был олицетворением последнего акта борьбы *революционного терроризма* против провозглашенного той же революцией *буржуазного общества* и его политики"), а статус анализируемого отрывка резко понижен⁴⁰. Если в первом варианте книги, сопровождавший цитату авторский комментарий простирался до сопоставления социального характера "якобинской диктатуры" и "диктатуры Наполеона" (Тарле 1936: 324), то во втором издании Тарле интересуют преимущественно "причины падения наполеоновской империи" (Тарле 1939: 181). Собственное видение проблемы, предусмотрительно отнесенное Тарле на сотню страниц вперед,

³⁶ См. также (Тарле 1936: 191, 501; ср. Тарле 1939: 108, 273).

³⁷ В первом издании "ему [Бонапарту] казалось", что власть 19 брюмера дали ему гренадеры, а не народ (Тарле 1936: 120), затем выяснилось, что "он знал" это (Тарле 1939: 67).

³⁸ В первом издании гонения на якобинцев в 1800 г. Тарле объяснял исключительно ошибкой первого консула, полагавшего, что цареубийца Фуше из страха перед реставрацией склонен выгораживать своих прежних друзей, и "с самого начала пошедшего по ложному следу" (Тарле 1936: 144, 147). Возвращаясь к этому эпизоду во втором издании Тарле уже во введении заявил: "...Он беспощадно расправился с якобинцами не за то, что они устроили "адскую машину" (он очень скоро узнал, что они тут ни при чем), а только и исключительно за то, что они — республиканцы и что они не хотят окончательно продать революционную традицию за барабанно-шовинистическую славу" (Тарле 1939: 4).

³⁹ В рассказ о расправе с герцогом Энгиенским Тарле ввел мотив мрачной задумчивости Наполеона над содеянным и исключил упоминание о том, что "это событие несколько смягчило недоверчивость и вражду старых якобинцев к Наполеону" (Тарле 1936: 191; Тарле 1939: 106-107). Бесспорное утверждение — "кровью герцога Энгиенского Наполеон как бы навеки и бесповоротно отмежевался от старого режима и старой аристократии" (Тарле 1936: 191) — было устранено в пользу гротескного обвинения Бонапарта в том, что он сохранял "добрый мир с врагами революции — эмигрантами" (Тарле 1939: 306).

⁴⁰ Ср.: "Редко где среди многочисленных высказываний Маркса о Наполеоне можно найти такой блестящий и социологический и психологический анализ политики и личности Наполеона, как в этом месте "Святого семейства" (Тарле 1936: 323); "таков среди многочисленных высказываний Маркса о Бонапарте блестящий и социологический и психологический анализ политики и личности Наполеона в этом месте "Святого семейства" (Тарле 1939: 181).

представляет собой подлинный реванш над аутентичным марксистским истолкованием Наполеона. "Тот, кто хочет вникнуть в натуру Наполеона и понять движущие силы его психологии, никогда не должен обманываться слащавыми попытками, столь обильными в необъятной литературе о Наполеоне, — попытками представить его в самом деле каким-то "полуреволюционером", тем, чем его часто называли сначала враги, а потом хвалители в первой половине XIX в., — "Робеспьером на коне". Никогда он этим не был". Он был "деспотом по натуре, прирожденным самодержцем", который "вымет прочь все, что оставалось от республики, и круто повернул к окончательному обращению Франции в военную деспотию и к превращению Европы в конгломерат рабски подчиненных этой деспотии вассальных царств, колоний и полуколоний" (Тарле 1939: 80)⁴¹.

Тезис о Бонапарте как "прирожденном самодержце" в скрытой форме был присущ и первому варианту книги, но в ней он вступал в соподчинение с признанием неизбежности (и даже благотворности (Тарле 1936: 115)) единоличной военной диктатуры для страны, пережившей общественный переворот: "Я не хочу упрекать его за восшествие на престол. Власть средних классов во Франции, которые никогда не заботились об общественных интересах... и апатия народа, который не видел для себя никакой пользы от революции... не давали возможности другого хода событий"⁴².

Отделение Бонапарта от просветительской и якобинской традиции, от народных низов, от потребностей стабилизации развороченного революционным десятилетием общества продолжилось в развенчании его общенациональной роли. "Он действительно взял от революции все, что она сделала для "свободного" развития экономической деятельности французской буржуазии", "окончание революции диктатурой Наполеона знаменовало, прежде всего победу крупнобуржуазных элементов", но и "собственническое крестьянство, интересы которого... ограждал Наполеон, всецело поддержало его" (Тарле 1936: 564-565). К этой характеристике добавлено лишь одно слово: Наполеон взял от революции все, что было необходимо "крупной французской буржуазии" (Тарле 1939: 305)⁴³. Этот переворот в оценке социальной основы наполеоновского режима ярко сказался при описании 18 брюмера. Согласно первоначальной версии Бонапарт считался с возможностью противодействия со стороны крупных собственников. «Обеспечив за собой поддержку армии и успокоив рабочие массы, Бонапарт мог не бояться сопротивления буржуазии»: «он знал, что наиболее могущественная часть буржуазии («богатых секций») подозрительна по роялизму», но мечтает о падении Директории, и «что буржуазия в основной массе поддерживает установление того порядка, который он введет» (Тарле 1936: 103). Во втором издании этот анализ уступил место элегическому пояснению: «Это устанавливалась диктатура контрреволюционной буржуазии: той буржуазии, которая в погоне за наживой привела Францию на грань гибели...» (Тарле 1939: 64). Из правителя, на котором временно сошлись интересы большинства нации Наполеон превратился в "защитника интересов капитала" (Тарле 1939: 248)⁴⁴.

Художественно архаизированный, Бонапарт первого издания завораживал принципиальной невозможностью получить окончательную социально-историческую оценку: "он был не только — и не столько — "завершителем" революции, сколько ликвидатором революции", читатель призывался к раздумьям над тем, "в чем Наполеон явился "завершителем" революции, а в чем — ее ликвидатором", ему было отказано лишь в "безоговорочном титуле "завершителя" революции" (Тарле 1936: 564-565). Нет, утверждал стремительно переосмысливший своего героя автор, "его ни в какой степени нельзя считать "завершителем" революции, а с полным правом необходимо считать ее ликвидатором", "только фальшивая идеализация Наполеона" может отрицать, что его образ "не имеет ничего общего общего с титулом завершителя революции" (Тарле 1939: 305-306, 43).

Образ Наполеона, таким образом, утрачивает и национальную, и революционную почву. Круг понятий, в которых представлен герой — "военная деспотия", "рабское подчинение", "прирожденный

⁴¹ Любопытно сравнить пояснения Тарле с суждением Бруно Бауэра, которое вызвало упомянутую инвективу Маркса против "критической критики" Наполеона: "После падения Робеспьера политическое просвещение и движение стали быстро приближаться к тому пункту, где они сделались добычей Наполеона, который вскоре после 18 брюмера мог сказать: "С моими префектами, жандармами и попами я могу сделать с Францией все, что хочу"" (Маркс, Энгельс: 136).

В качестве компенсации за дезавуирование опытов Маркса и Энгельса, последний удостоивается похвалы за частное замечание, справедливость которого весьма сомнительна: "Энгельс правильно отметил хронологическую дату ("австрийский брак"), после которой эта новая самодержавная империя Наполеона стала принимать и все внешние черты стародавних традиционных монархий" (Тарле 1939: 80).

⁴² Высказывание Ф. Энгельса подверглось радикальной переделке во втором издании и эти ключевые строки были из него исключены (ср. Тарле 1936: 592; Тарле 1939: 320).

⁴³ Точно такое же дополнение было сделано и в другом месте (Тарле 1936: 321; Тарле 1939: 179-180).

⁴⁴

самодержец", "самый необузданный, самый беспредельный деспотизм" — адресует не к Цезарю, а к Чингис-хану. В рамках же европейской политической традиции, Наполеон сближается с Луи-Наполеоном, с "бонапартистской контрреволюцией", так что естественным оказывается вопрос: "В каком же отношении стоит этот бонапартизм к современному фашизму?" (Тарле 1939: 303-305)⁴⁵. Из утреннего светила европейской истории Бонапарт превращался в зловещий луч ее заката.

IV. Вызов и раскаяние

Первое издание предлагало сложную концепцию личности и правления Наполеона. Понятый как эпический герой, Наполеон Бонапарт оказывался высшим воплощением вечного исторического типа, великим правителем, наиболее близким современности. Вместе с тем, социальное содержание феномена Бонапарта образовывало, иное, выходящее за рамки мифологии измерение его образа. За монолитной структурой образа героя угадывалась актуальная социальная проблематика. О ней напоминали уже первые строки книги: "За гильотиной Робеспьера всегда в истории следовала шпага Бонапарта", — цитировали Тарле и Радек канцлера Бюлова (Тарле 1936: 8). Если германские социал-демократы, к которым Бюлов обращал эти слова действительно "мало напоминали Робеспьера", то большевики страстно желали превзойти его и преуспели в этом.

С развязкой первого акта, наступало второе действие, и "работа по истории" (Пленум 1937: 12) закипела. "Засев за рукопись в марте 1935 г., Тарле написал книгу на одном дыхании — всего за несколько месяцев. Сказалась не только поразительная работоспособность ученого, но и то обстоятельство, что за подготовкой книги следил лично Сталин" (Дунаевский, Чапкевич: 575-576). Сценарий был обнародован и принят к обсуждению, и слабеющая рука Горького отчеркивала место о "самодержце одной из величайших европейских держав, которую он в сущности не знал" (Там же). Однако авторы недооценили непредсказуемости социального творчества Кремля.

В январе 1937 г. первый из них, К. Радек, был вынужден признать, что концепцию Наполеона пригодной к повторному исполнению могут считать разве что враги народа (Процесс 1937: 60), в марте ее дезавуировал Сталин (Сталин 1937: 5), а еще через три месяца такое же требование было обращено к Тарле. Он, разумеется, немедленно согласился, и с разговорами о законах истории революций было покончено. Потеряв укорененность в динамике постреволюционного процесса и обретя дополнительные архетипические черты воина-деспота, образ Наполеона обрел статуарную завершенность⁴⁶. Ореолом, которым окружали Бонапарта имена Гейне, Лермонтова, Жуковского, Гюго, Герцена, Беранже, Мицкевича, пришлось пожертвовать (вместе с немалой толикой беспристрастности изложения) — во имя избавления от ""наполеоновской легенды", уже принесшей так много зла в прошлом" (Тарле 1939: 306). "Наполеон как история — явление, которое повториться не может, потому что уже никогда и нигде, — заклинал Тарле вызванного им злого духа, — не будет той исторической обстановки в мировой истории, какая сложилась во Франции и Европе в конце XVIII и начале XIX века" (Тарле 1939: 6-7). Новое издание украсилось не гравированным портрет сумрачно-торжественного Бонапарта

⁴⁵ Война с Германией побудила Тарле радикально пересмотреть взаимоотношения бонапартизма с «современным фашизмом». Во введении к изданию 1942 года Тарле развернул позитивные характеристики личности ("ясный и светлый ум" и др.) и деятельности Бонапарта, присутствующие в первом варианте. В новом введении был впервые развит тезис не только о революционной, но и цивилизующей роли наполеоновских завоеваний: "Наполеоновским новым подданным в завоеванной Европе" "нравилось установление строгой законности в судах и администрации..., равенство всех граждан перед гражданским и военным законом, правильное ведение финансовых дел, отчетность и контроль, расплата звонкой монетой за все казенные поставки и подряды, проведение прекрасных шоссежных дорог, постройка мостов и т. д."; даже на исходе царствования "все подданные французского императора без различия национальности и вероисповедания... чувствовали себя под твердой защитой закона" и "знали", что даже наместник самого императора не посмеет беззаконно посягнуть на его жизнь, честь, имущество" (Тарле 1942*: 18). В трактовке социальной опоры наполеоновского режима и его отношения к "завоеваниям революции" Тарле вернулся к первоначальному варианту: "не только "убийцей", но и наследником" революции был Наполеон (Тарле 1942*: 14) — тезис, который в "Заключении" вновь отрицался (по формулам 1939 года (Тарле 1942*: 380).

В этом последнем прижизненном издании можно усмотреть не только новое проявление способности Тарле с энтузиазмом пересматривать свои взгляды в угоду государственной конъюнктуре, но и реванш за то насилие, которому ему пришлось учинить над "Наполеоном" в 1937-1938 гг.

⁴⁶ О колоссальных размерах исторической фигуре Тарле писал и прежде (Тарле 1936: 591). Во втором издании эти слова заменила ссылка на английского историка, считавшего Наполеона "стоящим в первом ряду бессмертных людей" (Тарле 1939: 321). Скульптурность понимания героя являлась исходным пунктом авторской концепции, но в еще большей степени результатом ее переосмысления в 1937 г.

с лежащим перед ним фригийским колпаком, а псевдо-золотым тиснением: "Академик Е. Тарле. Наполеон".

Однако настоящим противовесом концептуальному вызову «Наполеона» 1936 года, стало не оно, а коллективный труд «История ВКП(б). Краткий курс». Его предметом стала не исключительность воплощения исторических законов, а логическое обоснование их ограниченности. Эффективности просвещенного бюрократизма была противопоставлена мобилизованность масс, презрению к идеологам — идеократия, автономии личности — пронизывающий коллективизм. Авторитет европейской действительности не выдержало конкуренции с историей возникновения партийных ячеек на границе Европы и Азии. Образ диктатора, наследующего революции, оттеснило историческое величие революционной Партии — неизменной и непрерывно меняющейся, объединенной вокруг *своего* Вождя.. Революционное прошлое явилось не постаментом для статуи нового Государя, а барочно-эклектичным зданием, украшенным статуями Александра Невского, Ивана Грозного, Петра Первого и, среди прочих других, Наполеона Бонапарта.

Библиография

- Агурский — М. Агурский. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980.
- Далин — В. М. Далин. Историки Франции XIX-XX веков. М., 1981.
- Дунаевский, Чапкевич — В. А. Дунаевский, Е. И. Чапкевич. Е. В. Тарле и его книга о Наполеоне // Е. В. Тарле. Наполеон. М.: "Пресса", 1992.
- Гаспаров — М. Л. Гаспаров. Светоний и его книга // Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1988.
- Гинзбург — Л. Я. Гинзбург. О литературном герое. М., 1979
- Гуревич 1990 — А. Я. Гуревич. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. М., 1990
- Каганович — Б. С. Каганович. Е. В. Тарле и петербургская историческая школа. СПб., 1995.
- Манфред — А. З. Манфред. Наполеон Бонапарт. М., 1972.
- Маркс, Энгельс — К. Маркс, Ф.Энгельс. Святое семейство // Собрание сочинений. Т. 2. М., 196...
- Олеша — Ю. Олеша. Ни дня без строчки. М., 1965.
- Пленум 1937 — Материалы февральско-мартовского (1937 г) Пленума ЦК ВКП // Вопросы истории. 1992. №. 6-7.
- Процесс 1937 — Процесс антисоветского троцкистского центра (23-30 января 1937 года). М., 1937.
- Серебрякова 1980 — Г. И. Серебрякова. Собрание сочинений. Т. 6. М., 1980.
- Серебрякова 1988 — Г. Серебрякова. Смерч //Смерч. Сборник /Сост. И. А. Анфертьев. М., 1988.
- Смелянский — А. Смелянский. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989.
- Сталин 1937 — О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников (Доклад товарища Сталина на Пленуме ЦК ВКП (б) 3 марта 1937 г.) // Большевик. 1937. № 7.
- Тарле 1934 — Е. Тарле.... // Талейран. Мемуары. М., 1934
- Тарле 1936 — Е. В. Тарле. Наполеон / Под ред К. Радека. М, Молодая гвардия, 1936
- Тарле 1939 — Академик Е. В. Тарле. Наполеон. М., Госиздат, 1939.
- Тарле 1963 — Академик Е. В. Тарле. Пушкин как историк // Новый мир. 1963. N 9.
- Тарле 1942* -- Е. В. Тарле. Наполеон. М., Госполитиздат, 1942. (Цитируется по: Академик Е. В. Тарле. Сочинения. Т. VII. М., Издательство Академии наук, 1959).
- Тарле 1963 — Академик Е. В. Тарле. Пушкин как историк // Новый мир. 1963. N 9.
- Троцкий — Л. Троцкий. Сталин. В 2-х т. Т. 1. М., 1990.
- Чудаков — А. Чудаков. Структура персонажа у Пушкина // Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992.
- Stites — Richard Stites. Russian popular culture: entertainment and society since 1900. Cambridge, 1992.